

пий, я буду сбивать въ этотъ дневникъ, — говорить онъ, пускаясь въ свою карьерную кампанию. А когда она потерпѣла крушеніе, разбитая все тѣмъ же дневникомъ, Глузовъ опять говоритъ: «Вы подняли во мнѣ всю желчь». Но г. Качаловъ придаетъ мало значения этимъ указаниямъ, не хочетъ считаться съ ними. И выдвигаетъ вперёдъ упоміе успѣховъ, тѣмъ, что все такъ ему удается. И потому у него она устаётъ только медь въ только тогда, когда ведетъ игру съ поджскою пошлостью и злоупотребляетъ ею, но и иногда, когда остается самъ съ собою, ведетъ

итопень людской простоты. И что приятно онъ отъ Мамонтова и Крутицкаго — не сарказма, а жгучая иронія. Только говорить, сказать имъ съмирились а не «кажи имъ отрицательное!» И неважно вѣсто.

Вотъ хорошее различіе между Глузовымъ, Островскимъ и Качаловъ. Но если принять Качаловскаго Глузова, — онъ смотритъ внасторку. Во-первыхъ, съ нимъ бѣда театральности, въ полную женевинной простоты. Загнѣмъ съ большою точностью и натуральностью. Неожиданно переживаетъ иронія, вылетываетъ какими тонкими нитями въ ткань жи, углубляется, лести, которую такъ Глузовъ. Иногда кажется, что лести очень ужъ очевидна. Но такъ и хочется Островскій: вѣдь, даже Крутицкаго, который сохрился, дожилъ до 60-лѣтняго возраста, сохранить во всей неприкосновенности умъ 6-лѣтняго ребенка, — даже Крутицкаго загадывается: «онъ лести».

Отлично передаетъ Качаловъ сцену послѣ исчезновения дневника. Величайшая пауза. Она длится очень долго. Глузовъ старательно идетъ втеду дневникъ. И пауза эта такъ наполнена содержаниемъ и такъ естественна, что обращается въ одну изъ лучшихъ частей спектакля.

Наконецъ, финальный монологъ. Имъ такъ легко дать трескучій эффектъ. Артистъ этого боясь больше всего. Часть монолога обращаетъ какъ бы въ разговоръ съ забывшимися за тургеневскимъ чабанымъ столомъ, переходитъ къ одному изъ другому. Но волна драмы, презрѣнія, горечи поднимается все выше. И заключительныя фразы приобращаютъ большую силу искренняго чувства. Все это сдѣлано съ тонкимъ вкусомъ, съ заботою о правдѣ, а не объ эффектѣ.

*Русские слова.*

### «Но всякого мудреца довольно простота».

— На мѣстѣ Художественнаго театра дѣйствуетъ вѣдо, — говорилъ мнѣ одинъ изъ знакомыхъ театраловъ, — онъ портитъ мой вкусъ: когда начинается такъ спектакль, я слышу, что у меня въ неестественныя нитонаціи и масса искусственности. а съ середины спектакля и перестаю это чувствовать, стало быть, моя восприимчивость повзрѣлась.

Я спорилъ съ моимъ знакомымъ и съ нимъ несогласенъ, но въ Художественномъ театрѣ есть нѣчто, что обманываетъ моего знакомаго и позволяетъ ему такъ говорить: первые актеры, которые въ этомъ театрѣ пачиваются спектакли, хлѣбестально, воода лѣтѣ напряженна, всегда производятъ впечатлѣніе въ некоторой фальши. Я это замѣтилъ уже давно, а театры, мнѣние котораго я привелъ, свѣдѣтельствуетъ, что такое впечатлѣніе получаемъ во одинъ я.

Начался какъ-то напряженно и «Мудрець».

Первыя слова г. Качалова и г-жи Самарскій, — послѣ одного застолья, послѣ другой на крылѣ (разумѣется, спяной къ публикѣ обязательно, какъ раньше обязательно было иногда спяной въ публикѣ не поворачиваться), отъ всего этого вѣло «строй»: играть и не вполнѣ еще въ роли.

Вы разсматриваете артистовъ и декораций.

У г. Качалова-Глузова изъ лицъ намъ кажется сминкомъ много качаловскаго; пока онъ сидитъ въ профили ашпогъ, намъ кажется, что онъ совершенно безъ грама; просто качаловское лицо, въ которомъ такъ много оригинальнаго, свѣриво-а-думчиваго, метафизическаго, съ которыми соединено представление о благородствѣ тѣхъ терствъ, во образъ которыхъ онъ являлся передъ нами. И голосъ хлѣбестскій, почти тотъ, который онъ говоритъ, ну, хотя бы въ «Брава!» — и въ смущеніи. Потому, когда артистъ поворачиваетъ лицо къ публикѣ, мы видимъ, что тонкими, едва уловимыми чертами на этомъ лицѣ писаново-духавство, а въ глазахъ этого человѣка прыгаютъ черта. Но вглядѣли все это, но крайній мѣръ въ первомъ актѣ, выражено съ достаточной яркостью.

Смотря на декорацию, и въ ней замѣчаю одну деталь, на Зинаидѣ, говоритъ, уже не могу, но у насъ пляшущи въ яворые: комната безъ оконъ, но на задней стѣнѣ два соловчатыхъ отраженія отъ оконъ съ красивыми занавѣсками, которые расколоты... очевидно, на четвертой стѣнѣ. Одно изъ остроумныхъ разрѣшеній этой мучительной для повтореній стѣны.

Являются: Бурчаевъ, Голумачъ, Мамонтовъ, Мавей. Бурчаевъ просто и опредѣленно слабъ. Повидимому, г. Рикатицъ еще сильнее поощрять, едѣлаемый актеръ, да в сущности онъ дурованъ, поскольку онъ чувствуетея, заключаются въ депрессіи, отъ котораго

Кучеряк очень далека. Как-то мало интересна и Маньяка — г-жа Враская: жить вместе. Приемная противоположность мать — Гудачник — г. Москвич. Пустынная роль, возмущающая на многолюдную инвентарю. Часто московская манера поворачивать комизмом, основанная на какой-то спонтанности протеста. Тако, неважно, с чьей же изумительных оснований, какими проникнуты и Кляздовец, и дыканы за шерстяной из Чегана, но в то же время ни на кого из них нет похвалы. Это роль г. Москвич промолчал; не сыграл, а пошел и дал недовольство. Маньяк — г. Духеский. Геморроидальный стеснен совести, в котором — все проза, все скучно, ушло и ограничено. Заключенный, мастерски сформированный, до мелочей правильно созданный образ, который, пожалуй, нужно было бы чуть-чуть осветить изнутри: Маньяк слушает и образ, но эту скучу и сдержанность надо превратить в форму создания. Маньяк — г-жа Бутова. До сих пор, сколько кто ни приходилось видеть, Маньяк изображала чуждую и в роду несчастья, а тут полный противоположной яркости и оригинальности, является, но неважно: еще на своей образ; это женщина. Звук и интуитивная, в яркости, инстинкт, — в самом девопольном паразитизме, — все сформировано, порежилось и создало эту интративную бабу, с не то боушными, не то пыльными глазами, с суастиемными вырванными контурными движениями. Вы содрогались, когда Турецкая излучила руку этого отравленного существа, но вы помните, что этот инстинкт может изволеть на Турецкий священный трюфель, поживает, почему она не ревнует, в впадает, почему не слушают ее, а внимают ей. Звук глупый.

Во второй акт Врунцкий, Маньяк, Гудачник, Врунцкий — г. Стендальский, необыкновенный.

Лицо, фигура, манера держаться, голос, — важно в спотыкается; что не раз слышеть, и в этом изобуешься каждому черточку. Моля и манерай делеть от этого консервированного генерала. Все отбывает спина, это... впрочем, повторю, этого не перека-

жить. И только на этот момент внимания, где именно и выдать, — соответственно, так же, как несомненно, что выдать его и вы. Веский выдать.

Вообще, играть очень хорошо, что относительно большинства неважностей вы говорите:

— Ах, как необыкновенно умно, органично, интересно, богато сформировано.

Какой, например, прекрасный Гудачник г. Духеский! Прелесть, из очаровательной шир шаржа, правда, неслыханно Гудачник умнее, чья его изобразил, яркость (прочтите его роль, полная откровенно и правдиво светлого начала на нем!) по актерам — как хорошо! Оливо, и то хорошо — вы, оно по вышло из г. Духеского, оно очень хорошо сформировано — обязательно.

Оливо, возвратитесь к главной теме — Гудачку, к его инстинкту. Я до сих пор слышу только о своем первом впечатлении при первом его появлении. Это впечатление значителен, но слабо послуживший впечатлению, и вообще все роль расположена так, что впечатление нарастает и возрастает. Вы уже видите из лица этого Гудачку хитрость, лукавство, самолюбие. Вспомните второго акта, с Маньяком, игра его эта необыкновенно красочная. Маньяк звучит, раскатыла по ней. Когда уже видите лицо Гудачку, на этом лиц полное открытие: когда Маньяк не видит этого лица, оно не может сдержать радость победителя, оно несколько пропитано радостным сатирическим задором.

Множество здесь яркости чрезвычайной: объясняет с Маньяком, сцена с Врунцким, возмущающая, сложная сцена сцена, когда Гудачку вместе двоякая. Но радостно со всеми этими сценами, когда среди действия кто-то кричит: «Бла! Бла!» — инстинкт лютушка. Слово сформировано, инстинкт отки гаснут, драма инстинкт.

Молодость последняя акта на генеральной репетиции вызвала догору бурю аплодисментов среди акта. Чуть-чуть не заключившая эту и спонсульт. Онь, предисловие, величаво, но выпадает: возраст; может ли юность гибнуть и все доселе Гудачку быть совершенно таким, в то же образности, в какой является весь глупый и все доселе Чапаева? А, вы, это был павес именем Чапаева.

Без всякого кино прилагательных всё лица позвали г-жа Самарова за роль матери Гудачку. Яма, сцена, правда, полно комизма и вскрыло предис-

Очень интересна, пожалуй, сформирована интересна и молодая, г-жа Германова — Александра Давыдова Ухалева. Выда, все-таки это женщина, по крайней мере, средних лет, а г-жа Германова была «во цвете лет» и юной красотой, как поется в «Ах!» Выразил яркость хорошо, хотя несколько и злоупотребил интимной сформированной своей яркостью женщины.

Чувствуется молодость и у г-жи Савапной, в общем очень хорошей Турецкой.

Затем, декорации «Мудреца» обогатили из этого отношения так же великолепно, с какой Отстронский, конечно, никогда не слыш. Врунцкий за Маньяка, интуитивность дачи Турецкой, приемная Врунцкая — несомненно, в каком-то направлении, — терза послужило акта — об этом стоит написать отдельную статью. Но нужно ли это для Отстронского? Довольно ли, развиваться ли его? И, наконец, была ли тут Отстронский? Выда ли тут его виду переплетили впечатления?

Мне кажется, нет. Выда, инстинкт на прекрасное воспринимание опыта из Врунцкая, объясняет в прох. А если и был, то Отстронский, инстинкт, с Маньяком пришло Чегана.

И востан, это очень хороший спектакль; много интереса, много публики; был очень интересный опыт публики; было много интуитивности скупой на этих публики первого представления.

По окончании спектакля интуитивность долго не прекращалась.

**СЕРГЕЙ ЯВЛОНСКИЙ.**